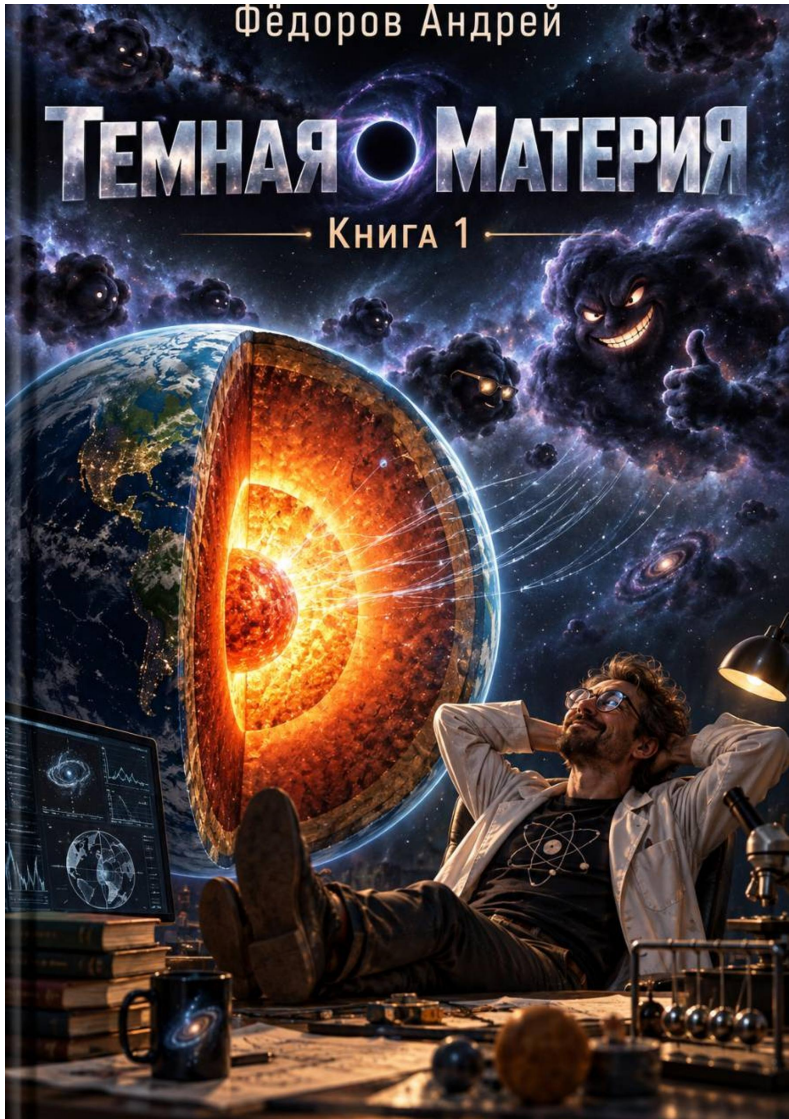


Фёдоров Андрей

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ

— Книга 1 —



Андрей Федоров

Темная материя

<https://litres.ru/74585513>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сергей Сатейников — геофизик-самоучка. У него нет кафедры, грантов и доступа к большим телескопам. Зато есть кот Эйнштейн, комната в Подмоскowie и крамольная идея: тёмная материя не размазана по Вселенной ровным слоем. Она сбивается в облака. А раскалённые ядра планет — это идеальные детекторы, которые академическая наука упорно не замечает.

Мысль слишком простая, чтобы её опубликовать, и слишком опасная, чтобы её игнорировать. Чтобы доказать правоту, Сергею и его безумной команде придётся собрать установку из надувных лодок, гранитных плит и алмазных наковален в обычном гараже.

Впереди — война с комиссией по лженауке, тотализаторы, суды и главное открытие в истории человечества. Но сначала нужно купить болт М10 по форме 9-бис.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	16
Глава 3	28
Глава 4	41
Глава 5	57
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Андрей Федоров

Темная материя

Глава 1

Просыпаюсь оттого, что на мне сидит Эйнштейн и смотрит так, будто я просрочил платёж за его существование.

Эйнштейн — кот. Серый, сорокасантиметровый в холке и по ощущениям пятнадцатикилограммовый, потому что вся его масса сосредоточена в одной точке: у меня на диафрагме. Назвал я его в те времена, когда ещё верил, что имя что-то обязывает. Теперь обязан только я. Кот, если уж на то пошло, никому ничего не должен, и в этом его главное физическое превосходство надо мной.

— Пять сорок, — сообщаю я потолку. — Ты даже не голодный. Ты просто хочешь, чтобы я страдал синхронно с тобой.

Эйнштейн моргает медленно, с достоинством. Мол, одно другому не мешает.

Комната у меня в Подмоскowie, двенадцать квадратов, с видом на гаражи и на одинокую берёзу, которая каждую осень делает вид, что умирает, и каждую весну возвращается, чтобы мне досадить. Хозяйка, Тамара Петровна, считает меня «приличным, но странным». Приличный — потому

что плачу вовремя. Странный — потому что однажды она зашла за счётчиками и обнаружила на стене схему Земли в разрезе, нарисованную маркером прямо на обоях. Я объяснил, что это ядро. Она ответила, что обои, вообще-то, были финские.

Выбираюсь из-под кота, нашариваю очки. Дужка перемонтана синей изолентой — третий раз за год. Телефон показывает батарею в девять процентов и ленту новостей, которую я зачем-то открываю до того, как почищу зубы. Это моя утренняя гимнастика: начинаю день с лёгкого повышения давления, чтобы кофе потом не пропадал зря.

Первая же новость, с картинкой в фиолетово-золотых тонах, будто кто-то рассыпал блёстки по поверхности чёрной дыры:

«ПРОРЫВ В ФИЗИКЕ: ученые выяснили, что тёмная материя — это квантовые эмоции космоса».

Читаю заголовок. Читаю ещё раз. Эйнштейн, усевшийся на подоконнике, оборачивается, будто тоже ждёт разъяснений.

— Квантовые эмоции, — говорю я ему. — Космоса. Ты слышал? Космос, оказывается, переживает. А мы тут сорок лет ищем частицы.

Читаю дальше. Работа выполнена в Центре междисциплинарной трансцендентности при Институте фундаментальных абстракций. Руководитель проекта, доктор чего-то там и член чего-то там, объясняет: тёмная материя составляет

восемьдесят шесть процентов Вселенной, а «эмоциональный фон космоса» по своей природе тоже не наблюдается напрямую, но «ощущается через резонанс». Следовательно, это одно и то же. Красота. Я бы так сказал про любую вещь, которую не удалось найти. Куда делись мои носки? Это квантовая грусть гардероба.

Ниже — врезка: «Проект поддержан грантом в размере сорока восьми миллионов рублей». И в последнем абзаце, мелким шрифтом, самое важное: «Следующим этапом исследователи планируют измерить эмоции чёрных дыр».

— Конечно, планируют, — говорю я. — Там же на шестьдесят миллионов потянет. Чёрные дыры — существа замкнутые, к ним нужен особый подход. Психолог, оборудование, пирожные в буфете.

Эйнштейн спрыгивает с подоконника и идёт к миске. Единственный вменяемый участник дискуссии, и тот интересуется только едой.

Насыпаю ему корм. Хрустит он с тем равнодушием к мировой науке, которому мне предстоит учиться всю оставшуюся жизнь.

Теперь надо объяснить, кто я такой, потому что в ближайшие часы я собираюсь немного пожаловаться. Меня зовут Сергей Сатейников, мне сорок один год. Я геофизик. Конкретнее: у меня диплом геофизика, выданный в две тысячи седьмом году Московским заочным горно-геологическим институтом, который с тех пор переименовывали три раза,

один раз слили с технологическим колледжем и один раз, кажется, закрыли, но не до конца. Когда я звоню туда уточнить что-нибудь по своему диплому, на том конце вздыхают и говорят: «Подождите, мы посмотрим в архиве». Архив, как я подозреваю, находится в чьём-то гараже. Возможно, в том самом, на который выходит моё окно.

Диплом у меня настоящий. Просто никто его не помнит. Это очень специфическое состояние: ты существуешь юридически, но не существуешь в памяти людей. Как тёмная материя, если вдуматься. Гравитационно присутствую, электромагнитно не проявляюсь.

Остальное — самообразование. Двадцать лет по ночам: сейсмология, теория поля, физика высоких давлений, термодинамика недр. Прочитал всё, что нашёл, а чего не нашёл — выписал через межбиблиотечный абонемент, потому что в одной районной библиотеке до сих пор есть женщина, которая помнит, как меня зовут, и не задаёт вопросов. Работаю я удалённо: пишу программы для обработки данных на геологоразведочную контору. Это даёт на комнату, кота и подписку на препринты, которые всё равно приходится качать с зеркал.

Ставлю чайник. Пока он закипает, открываю почту. Не потому что хочу. Потому что я как человек, который тычет языком в больной зуб: больно, но проверить надо.

В ящике шесть новых писем. Читаю по порядку.

Первое от журнала «Вестник геофизических исследова-

ний»:

«Уважаемый Сергей Андреевич! Благодарим вас за присланную рукопись. К сожалению, тематика работы выходит за рамки профиля нашего издания. Желаем успехов в дальнейших исследованиях».

Выходит за рамки профиля. Работа называется «Термальная динамика земного ядра и её возможная связь с взаимодействием с тёмной материей». Геофизика. Ядро. Земли. Если это не профиль «Вестника геофизических исследований», то я не знаю, что там печатают. Рецепты, наверное.

Второе, из международного журнала, на английском: «Unfortunately, your manuscript does not meet the scientific standards of our journal». Это вежливый вариант фразы «пошёл вон». В третьем, из другого журнала, рецензент пишет, что гипотеза «лишена должного обоснования», и тут же, через строчку, что «автор не приводит ссылок на современную литературу». Ссылок на современную литературу про то, чего в современной литературе нет. Логика замкнутая, как кольцо Мёбиуса. Я бы даже восхитился, если бы не был его внутренней поверхностью.

Четвёртое — без подписи, автоответ: «Ваше письмо получено. Рассмотрение может занять до шести месяцев». Это я посылал в прошлом апреле. Привет, апрель.

Пятое — спам от издательства, которое готово опубликовать мою монографию за двести тысяч рублей. «Ваш вклад в науку не должен пропасть». Какая забота. Подозреваю, у

них там тоже есть центр междисциплинарной трансцендентности.

Шестое я открываю с некоторой осторожностью, потому что оно от человека. От Виктора, моего бывшего одногруппника, который сейчас старший научный сотрудник где-то и вообще нормальный мужик. Было, по крайней мере, до того, как нас обоих удалили из общего чата выпускников. Меня удалили первым. Формально — «за флуд». Я прислал туда ссылку на свою статью, один раз. Виктор пишет коротко:

«Серёг, я прочитал. Не обижайся, но тебя не будут печатать. Не потому что неправ, а потому что ты — это ты. Нет аффилиации, нет цитирований, нет имени. Найди кого-нибудь с именем и отдай ему. Серьёзно. Мы же не в школе».

Перечитываю последнюю фразу. «Мы же не в школе». Да. В школе хотя бы ставят оценки по ответу, а не по фамилии.

Чайник щёлкает. Заливаю растворимый кофе, добавляю ложку сахара и вторую — на нервы. Сажусь за стол, который одновременно служит кухонным, рабочим и обеденным, и достаю из-под стопки бумаг распечатку.

Это график. Очень простой, если не знать, на что смотришь. Ось X — время, тридцать семь лет. Ось Y — отклонение температуры на границе внешнего и внутреннего ядра Земли от расчётной модели. Точки я восстанавливал из косвенных данных: сейсмические волны, скорость прохождения через разные слои, колебания длины суток, вариации магнитного поля. Сам я эту температуру, понятное дело, ни-

куда термометром не совал. Но у Земли есть свои способы выдавать информацию, если уметь слушать.

А линия на графике дышит. Ядро Земли то нагревается чуть больше, чем должно, то остывает чуть сильнее. Колебания небольшие, доли процента, и в учебниках принято говорить, что это шум. «Шум измерений», «погрешность модели», «возмущения неясной природы». Но шум не бывает таким аккуратным. У шума нет формы. А у этих волн есть. Я знаю, что есть. Я пересчитывал двадцать раз.

Показывал я этот график семи людям. Один сказал: «Интересно, но у вас, наверное, артефакт обработки». Второй: «А вы пробовали усреднить?» Я пробовал. Третий просто посмотрел на меня, потом на график, потом на часы и сказал, что опаздывает на заседание. Четвёртого я не помню, там было что-то про астрологию, но мягко. Пятый и шестой сделали вид, что смотрят. Седьмой был Виктор, и он вздохнул.

Что стоит за этим дыханием, я знаю давно. Просто в ближайшие минуты мне хочется ещё немного потерзать себя фактами.

Допиваю кофе. Эйнштейн, закончив трапезу, возвращается на подоконник и принимает позу, которую я называю «хлебушек». Смотрит на гаражи, на берёзу. Тоже, видимо, размышляет о тщетности сущего.

Снова беру телефон — зачем, не знаю, — и перечитываю новость про квантовые эмоции. Теперь внимательнее. В тек-

сте есть цитата руководителя проекта: «Мы отошли от узкого механистического взгляда. Вселенная — это не набор частиц, а поле смыслов. Тёмная материя — её невысказанное».

Невысказанное. Если бы Вселенная умела говорить, она бы сейчас сказала что-нибудь очень короткое и не для публикации.

— Сорок восемь миллионов, — говорю коту. — Знаешь, сколько стоит детектор тёмной материи? Ну, настоящий, подземный, в шахте, с ксеноном, чтобы десять лет ничего не увидеть? Да примерно столько же. Только те ничего не нашли, а эти нашли, и сразу эмоции. Результат налицо. Я им даже завидую, у них хотя бы грант есть, а у меня только кот.

Эйнштейн не оборачивается. Хвост подрагивает: в его картине мира слово «кот» употреблено корректно.

Продолжаю. Потому что больше всего меня бесит даже не грант, а то, что эта чушь и есть сегодня «ответ на вызов». Комментарии под новостью: «Давно говорил, что космос живой», «Наука наконец-то догоняет эзотерику», «Благодарю учёных за смелость». А ниже, в самом конце, одинокое: «А доказательства где?» — минус сорок семь. Человек, который задал нормальный вопрос, уже схлопотал минус сорок семь. Я хотел бы поставить ему плюс, но у меня нет аккаунта, потому что меня оттуда тоже, как-то раз, удалили.

Хватит. Пора думать, а не ныть.

Кладу телефон экраном вниз. Беру карандаш. Придвигаю

график. Рядом, на другом листе, у меня несколько строк, которые я пишу и переписываю последние три года, как мантру. Они выцвели, потому что я постоянно стираю и пишу заново, и бумага стала чуть бархатной, как старая джинса.

Вот что мы знаем наверняка. Тёмная материя существует. Видна она только по гравитации: галактики вращаются так, будто массы в них больше, чем видно глазами. А вот ловить её не получается. Человечество вложило в эту охоту миллиарды: огромные ёмкости с жидким ксеноном под горами, ускорители, спутники. Всё впустую. Двадцать лет «пока ничего не обнаружено». И вместо того, чтобы задать вопрос «а может, мы ловим не там и не так?», все начинают придумывать эмоции космоса.

А я всё время возвращаюсь к простому: что, если она вообще не хочет взаимодействовать с лабораторией? Что, если слабое взаимодействие — это не «слабое», а «условное»? Что, если нужны условия, которых в наших детекторах не бывает ни при каких бюджетах?

Я встаю. Хожу по комнате. Три шага до окна, три шага обратно. Эйнштейн следит за мной одним глазом, как за интересной, но не вполне безопасной мухой.

— Смотри, — говорю я вслух, потому что вслух всегда проще, а кот хотя бы не перебивает. — Берём любой детектор. Ксенон, германий, что угодно. Масса — тонны. Давление — атмосферное. Вокруг лаборатория, комнатная температура. Это что? Это пылинка. Это одна пылинка на фоне

космоса. Мы пытаемся поймать призрака, шевеля воздух ладонью.

Эйнштейн потягивается.

— А теперь берём планету. Земля. Шесть на десять в двадцать четвёртой килограммов. Давление в центре — три с лишним миллиона атмосфер. Температура — как на поверхности Солнца. Вот где нужные условия. И самое смешное, что это уже построено. Не нами. Миллиарды лет назад. Бесплатно.

Я останавливаюсь у стены, на которой по-прежнему виднеется нарисованное маркером ядро. Слабый след финских обоев под ним. Тамара Петровна всё ещё упоминает про них при каждой встрече.

— Тёмная материя, — произношу я медленно, и голос у меня почему-то становится тише, — взаимодействует только с очень большими массами при очень больших давлениях. Не с частицей и не с лабораторным образцом, а с телом размером в планету. Ядро планеты и есть её детектор. Настоящий, готовый и работающий. А те скачки температуры, которые все называют шумом, — это сигнал. Это Земля регистрирует то, что мимо неё проходит.

Тишина. Слышно, как за окном кто-то заводит машину, как она чихает, как кашляет. Эйнштейн перестаёт вылизываться и смотрит на меня. Не как на хозяина. Как на пациента, у которого, возможно, всё-таки есть шанс.

Странное чувство. Я ведь знал это и раньше, формулиро-

вал в голове и в статьях. Но вслух, в пустой комнате, где никого нет, кроме кота и недопитого кофе, оно звучит иначе. Не как гипотеза. Как факт, который просто ещё не получил разрешения на существование.

Мне нужно название. Каждая теория, даже та, которую не печатает ни один журнал, должна иметь название, иначе её невозможно ненавидеть как следует. Нужно что-то короткое, звучное, чтобы им можно было размахивать, как флагом, или хотя бы как тряпкой перед быком. Не «квантовые эмоции». Не «поле смыслов». Что-то про суть: про планету, про давление, про то, что ядро — это не просто горячий шар, а чувствительный орган, как...

Слово приходит ко мне само, целиком, как будто ждало за дверью. Я даже вздрагиваю. Открываю рот, чтобы произнести его вслух и услышать, как оно звучит в этой комнате с видом на гаражи...

И в этот момент Эйнштейн, который всё это время сидел на подоконнике с видом мудреца, невозмутимо протягивает лапу, подцепляет мою чашку с остатками кофе и сталкивает её с края стола. Он не торопится. Он смотрит мне прямо в глаза.

Чашка летит вниз, как самый честный аргумент в истории физики. Звон — резкий, окончательный, на все двенадцать квадратов. Осколки разлетаются по линолеуму, а кофейная лужа ползёт к ножке стула.

Слово, которое я хотел произнести, уже у меня на языке.

Я стою с открытым ртом, и по полу текут последние мысли двадцатилетней работы.

— Эйнштейн, — говорю я очень тихо, — ты хоть понимаешь, что ты сейчас сделал?

Кот зевает. Он понимает. Он, кажется, единственный в этой Вселенной, кто всё понимает правильно.

Глава 2

Слово уходит вместе с кофе.

Я понимаю это на четвереньках, с тряпкой в одной руке и ручкой от чашки в другой. Только что оно стояло у меня на языке, целое, звонкое, с нужным ударением. А пока я искал тряпку, оно испарилось, как идея, которая приходит в душе и исчезает вместе с полотенцем.

— Это называется диверсия, — говорю я коту. — Ты понимаешь, что у тебя нет алиби?

Эйнштейн лежит на подоконнике, свесив лапу. Алиби ему не нужно. У него нет прокурора, только я, а я кормлю его в пять сорок.

Собираю осколки, выжимаю тряпку над раковиной. Кофе стекает в слив бурой струйкой и уносит с собой остатки названия. Ничего. Вернётся. Или не вернётся, и тогда назову как-нибудь попроще. Теория без имени — это, в конце концов, не катастрофа. Моя, например, без имени уже три года, и никто не умер.

Но облака я уже не выбросить из головы. Они пришли раньше названия, пока я стоял над лужей. Просто мелькнули: если ядро Земли то нагревается, то остывает, значит, то, что на него действует, не лежит ровным слоем. Оно меняется. Оно приходит и уходит.

Мне всегда казалось, что слово «разлитая» в описании

тёмной материи звучит подозрительно. Её рисуют на картинках как однородный туман, этакий сиропчик, равномерно размазанный по Вселенной. Красиво, удобно для уравниваний. Но у природы со всем равномерным как-то не складывается. У неё всё комками. Звёзды комками, галактики комками, вода в небе комками, и мы ещё называем это погодой.

Работаю до обеда: переписываю код, который кормит меня и кота, и параллельно в голове крутится одна и та же картинка. К двум часам я ничего не сделал ни там, ни там, и решаю, что умный человек в таком состоянии должен сварить пельмени.

Кастрюля у меня одна, с отбитой по краю эмалью, помнит, кажется, ещё предыдущего жильца. Наливаю воды, ставлю на огонь, высыпаю пельмени из пачки. Выгляжу при этом, надо думать, как человек, который готовится к ужину в честь собственной отставки.

Сажусь рядом на табуретку и смотрю, как вода закипает. И тут оно происходит. Так происходит почти всё важное: не в лаборатории, не на семинаре, а в момент, когда ты ничего не делаешь и просто смотришь на кастрюлю.

Пельмени всплывают не поровну. Вот три слиплись у стенки, вот ещё один плывёт сам по себе, а в центре кипит пустая вода без единого. Воду я при этом считаю однородной: она вся из одного и того же. Но куда ни ткни половником, результат разный. В одном месте зачерпнёшь бульон, в другом налетишь на пельмень.

— Ага, — говорю я. — Ага.

Эйнштейн приоткрывает один глаз. Он по тону слышит: сейчас будет лекция. И если не уйти, придётся слушать.

Не уходит. Остаётся из любопытства или из уважения к запаху.

Беру блокнот и рисую кастрюлю в разрезе. Получается кривовато, но суть понятна. Дно кастрюли — это ядро планеты, горячее, тяжёлое, чувствительное. Поверх него суп, по нему плавают пельмени, и они не равномерны: тут пусто, тут густо. Каждый раз, когда над доньшком проплывает кучка пельменей, дно это ощущает: нагревается или остывает, смотря что за пельмень. Мало ли какая начинка.

С начинкой, признаться, у меня честно пока не ясно. Почему одни облака греют ядро, а другие, судя по данным, наоборот отнимают тепло, я не знаю. Могу предположить, но предположение — не знание, и это единственное, что отличает меня от Центра междисциплинарной трансцендентности. Они знают всё заранее.

Пельмени всплывают целым стадом. Достаяю, ем и думаю о том, что на моём месте Ньютон вряд ли смотрел бы на кастрюлю. Ньютону повезло с яблоком, оно хотя бы падало красиво.

К вечеру я чувствую, что картинка не помещается ни на листе, ни в голове. Нужен масштаб. Нужно, чтобы облака были такими большими, чтобы я мог по ним пройти. Беру из ящика стола кусок школьного мела, который лежит там с тех

пор, как я зачем-то купил коробку на всякий случай, и выхожу на улицу.

В двух кварталах от дома есть сквер: четыре скамейки, одна урна, пенсионер с шахматами и ровная асфальтовая площадка перед детской горкой. Идеальная аудитория. Асфальт сухой, ветра нет, у горки никого. Опускаюсь на колени и начинаю рисовать.

Сначала Солнце, жёлтым мелом, если бы у меня был жёлтый, но он только белый, поэтому Солнце получается как большая вафля с лучами. Рядом, мелким кружком, Земля. Дальше вытягиваю линию, длинную, почти до края площадки, это путь Солнечной системы вокруг центра Галактики, двести двадцать километров в секунду, больше семи миллиардов километров в год. Мы несёмся, а ощущение такое, будто стоим. Хороший урок скромности для всех, кто верит собственным ощущениям.

Вдоль линии рисую облака. Неровные кляксы, разного размера, с рваными краями, местами сливающиеся, местами одинокие. Подписываю: «плотное», «разреженное», «пустота». Шрифт у меня как у санитара на рецепте, но самому читать можно.

— Дядь, а вы чё делаете?

Поднимаю голову. Передо мной трое школьников в форме, лет по четырнадцать. Двое мальчишек, девочка с розовыми наушниками на шее. Смотрят на асфальт так, будто там нарисован труп.

— Облака, — отвечаю.

— Это типа искусство?

— Это типа физика.

Они переглядываются. Девочка достаёт телефон. Движение у неё отработанное, как у ковбоя. Объектив смотрит на меня, красная точка горит.

— Ничего, если мы снимем?

— Снимайте, — говорю я. — Я всё равно уже привык, что на меня смотрят как на аварию.

— Круто, — шепчет один из мальчишек второму. — Реально треш.

— Реально, — соглашается второй.

Я вздыхаю. С одной стороны, это не профессорская аудитория. С другой стороны, профессорская аудитория меня до сих пор не пустила. Придётся работать с тем, что есть.

— Смотрите, — говорю и постукиваю мелом по асфальту. — Вот Солнце, вот Земля. Вся эта дорога — наше путешествие по Галактике. Мы едем сквозь невидимую штуку, которая называется тёмная материя. Её никто не видел, но она тянет галактики, как гири. Знаете, как её ищут?

— Ну, в лаборатории, — говорит девочка.

— В лаборатории. Берут бак с жидким ксеноном, закапывают на километр в гору и ждут. Двадцать лет. Знаете, что это напоминает?

— Нет.

— Это как поймать пельмень в океане чайной ложкой.

Один из мальчишек хмыкает. Уже неплохо. Пельмени всегда заходят.

— Представьте кастрюлю, — продолжаю я. — Суп. В супе плавают пельмени, но не равномерно, а кучками. Теперь вы берёте чайную ложку и зачерпываете. Что вы получите?

— Бульон, — говорит мальчишка.

— Бульон. В девяноста девяти случаях из ста. И вот так делают все детекторы на Земле: ложка маленькая, бульон один, а пельмени в другом месте. Ловить надо не ложкой. Ловить надо дном кастрюли. Такой штукой, которая большая, горячая, тяжёлая, и пельмень, когда проплывает над ней, не может её не заметить.

— Типа сковородкой?

— Типа планетой, — говорю я. — Земля — это дно. Давление в центре — три миллиона атмосфер. Температура — шесть тысяч градусов. Когда она проходит облако, она реагирует: то нагревается, то остывает. Мы называем это шумом, потому что привыкли искать сигнал в другом месте.

Девочка опускает телефон на секунду.

— Подождите, — говорит она. — То есть мы живём на детекторе?

— Мы живём на детекторе, который включён уже четыре с половиной миллиарда лет. Просто никто не смотрел на экран.

Они молчат. Мальчишка, который сказал «треш», пинает носком кроссовка кусок асфальта.

— А почему вам никто не верит? — спрашивает он.

Хороший вопрос. Пожалуй, самый честный за последние три года.

— Потому что у меня нет бумажки, — отвечаю я. — То есть бумажка есть, но она из закрытого института. И потому что идея слишком простая. Взрослые не любят простых идей. Им кажется, что наука должна быть сложной, как налоговая декларация. А я прихожу и говорю: Земля — это дно кастрюли. Они обижаются.

Девочка хихикает, прикрывая рот ладонью, и телефон дрожит у неё в руке. Не знаю, что выйдет из этого видео. Наверное, подпись «Дядя рисует облака на асфальте, ор» и три тысячи просмотров. Мне всё равно. Они хотя бы послушали.

Продолжаю рисовать, и теперь они стоят рядом и подсказывают.

— А облака большие?

— Разные. Допустим, размером с орбиту Юпитера. Мы летим со скоростью семи миллиардов километров в год. Значит, такое облако пересекаем месяца за три. Вот и получается: три месяца нагрева, потом пустота, потом новое облако, холод или снова тепло. Ядро реагирует с запаздыванием, но реагирует.

— А другие планеты? — спрашивает второй мальчишка. Он, оказывается, шарит. — У них тоже так?

— О, — говорю я. — Вот это интереснее всего.

Рисую рядом с Землёй ещё три кружка, поменьше и по-

больше.

— Нептун. Он находится в тридцати астрономических единицах от Солнца, получает тепла почти нисколько, а излучает в два с половиной раза больше, чем получает. Откуда? «Остаточное тепло формирования», — говорят учебники. Через четыре с половиной миллиарда лет, заметьте. Остаточное. А соседний Уран — почти такой же по размеру и составу — отдаёт практически ноль. Как будто его выключили. Учёные называют это «загадкой Урана» и вздыхают. А я смотрю и думаю: а что, если Уран просто сейчас в про-свете?

Девочка выключает запись.

— Погодите. Вы это серьёзно?

— Я всегда серьёзно. Это моя главная проблема.

— Просто, ну... Это звучит как реальная теория.

— Спасибо, — говорю я. — Попробуй сказать это в институте.

Она смеётся, но уже не над мной. Мальчишки топчутся рядом. Один просит мел и дорисовывает облако посреди «пустоты», потому что «там слишком голо». Я не возражаю: в моей теории мальчишка с мелом вряд ли хуже рецензента.

Когда они уходят, уже темнеет. Пенсионер с шахматами смотрит на меня с другой скамейки. Говорит:

— Ну и дела у вас.

— У всех дела, — отвечаю я.

— Нет, — говорит он. — У вас интересные.

Он возвращается к партии, а я стою над рисунком, который завтра смоет дождь. Мне почему-то не жалко. Асфальт всё равно лучше любого журнала: он ничего не обещает и ничего не отказывает.

Дома меня встречает Эйнштейн с видом существа, которое всё это время держало оборону. Кормлю его. Снимаю очки, протираю, надеваю обратно. Достаяю ноутбук.

В голове с самого сквера крутится ещё одна мысль, которую я до сих пор откладывал, как неоплаченный счёт. Если облака существуют, они должны оставлять следы не только в температуре ядра, но и в том, что от ядра зависит. Магнитное поле Земли рождается в жидком внешнем ядре, там, где течёт расплавленное железо. Любой серьёзный нагрев или охлаждение на границе должны, пусть с запаздыванием, давать там рябь.

И такая рябь известна. В учебниках это называют геомагнитными джерками: короткие, резкие изменения в скорости изменения поля. Происходят за год-два, нерегулярно, природа их «не вполне ясна». Знаю формулировку наизусть, она кочует из статьи в статью, как семейная реликвия.

Открываю свой файл с моделью. В нём то, что я собрал за три года: ориентировочная схема «окон», в которые, по моим расчётам, Земля должна была пересекать границы облаков. Даты я посчитал давно, зимой, исходя только из температурных рядов ядра. Магнитные данные тогда не смотрел вообще, сознательно. Хотел, чтобы одно не подгонялось под

другое. Вот она, моя единственная научная добродетель: я трусливо честен.

Скачиваю открытые ряды обсерваторий. Данные старые, пыльные, местами выглядят так, будто их оцифровывали на кухне. Строю график второй производной поля. Кривая дёргается, и я отмечаю пики.

Тысяча девятьсот шестьдесят девятый. Тысяча девятьсот семьдесят восьмой. Девяносто первый. Девяносто девятый. Две тысячи третий. Две тысячи седьмой. Две тысячи четырнадцатый.

Потом кладу рядом свои даты.

Сначала не верю. Проверяю ещё раз. Сдвигаю окно на год, потом на два. Из семи пиков пять попадают в мои окна почти точно, шестой с промахом в полгода, и только седьмой, две тысячи седьмой, висит в стороне, как лишний ребёнок на фотографии. Но и он, если пересчитать с поправкой на скорость облака, вроде бы лезет на место. Вроде бы. Не стану себя обманывать. Вроде бы это именно то слово, которым начинаются все ошибки в истории науки.

Но пять из семи. С точностью до месяцев. Из модели, которую я собрал на температурных данных, не заглядывая в магнитные.

Встаю. Хожу. Три шага до окна, три обратно. За окном темно, гаражи сливаются с берёзой, и только в одном окне напротив горит жёлтый свет.

— Эйнштейн, — говорю я, и голос у меня почему-то хри-

пит. — Они совпадают.

Кот приоткрывает глаз. Смотрит на меня, потом на экран, потом снова на меня. На всякий случай подходит и трётся о ногу. Он, кажется, понимает: сейчас не время для шуток.

Сажусь. Руки у меня не совсем слушаются. Сохраняю файл в трёх местах: на диск, на флешку и на облако, которое, по иронии, тоже облако. Потом открываю браузер и на минуту просто смотрю на пустую строку поиска.

Что дальше? Прислать в журнал? Присылал. Показать Виктору? Показывал. Зайти в чат выпускников и написать: «Ребята, я оказался прав»? Меня оттуда удалили, и теперь это только красивая мечта.

Но есть один способ, о котором я всё это время думал с отвращением, как о необходимой, но неприятной процедуре. Прийти туда, где сидят живые люди. Встать перед ними. Показать график. Сказать вслух. Не на клочке бумаги, не в письме, которое можно положить в папку «Отклонено».

Пролистываю почту. Среди рекламных рассылок лежит письмо с темой: «Приём тезисов продлён до пятницы. Конференция "Тёмная материя и тёмные гранты", Институт фундаментальных абстракций». Рассылку я получаю уже второй год, и каждый раз кладу в корзину, не читая. Название само по себе обещает всё, что мне не понравится. Там будут люди, которые считают тёмную материю эмоцией космоса, и люди, которые считают её отражением коллективного бессознательного, и люди, которые просто пришли за пи-

рожными.

Я знаю, чем это кончится. Мне не нужно быть пророком. Достаточно прожить сорок один год. Меня поставят в конец программы, выделяют десять минут, и кто-нибудь с бородой и званием перебежит меня на втором слайде. Кто-то хихикнет. Кто-то снимет. Если очень повезёт, ничего хуже.

Открываю форму подачи тезисов. Заголовок: «Термальная динамика земного ядра как индикатор неоднородного распределения тёмной материи». Подумав, стираю и пишу проще: «Облака в небе, которых нет». Название глупое, зато честное. Я ведь действительно вижу облака там, где всем кажется пустота.

В окошке «Аффилиация» курсор мигает долго. Потом я вписываю: «независимый исследователь». Звучит как «безработный с претензией», но это правда.

Нажимаю «Отправить». Экран отвечает: «Спасибо! Ваша заявка принята».

Эйнштейн запрыгивает на стол, шагает по клавиатуре и садится ровно на мои тезисы, закрывая половину экрана хвостом.

— Да, — говорю я. — Я знаю. Но кто-то же должен.

Кот закрывает глаза. Видимо, согласен. Или спит. По его позе это не отличить.

Глава 3

Институт фундаментальных абстракций стоит в сосновой роще за кольцевой, и это первое, что в нём настораживает: настоящие институты обычно прячутся между гаражами и заправкой. Здесь же белое здание с колоннами, фонтан без воды и вывеска золотыми буквами. Золото, надо полагать, добывали из грантов.

На проходной меня встречает девушка с планшетом.

— Фамилия?

— Сатейников.

— Аффилиация?

— Независимый исследователь.

Она ищет меня в списке дольше, чем стоило бы. Потом находит, и на лице у неё появляется вежливое выражение человека, нашедшего в салате что-то неопознанное, но не желающего устраивать сцену.

— Вы в программе, — говорит она. — Под номером двадцать три.

— Из сколько?

— Из двадцати трёх.

Она вручает мне бейдж. Я читаю: «С. Сатейников, неЗависимый исследователь». Заглавная «З» посреди слова. Либо опечатка, либо программа, написанная людьми с богатым внутренним миром. Я решаю не поправлять. Пусть будет фи-

лософия.

В вестибюле пахнет кофе и мастикой. Висят плакаты с афоротическим шрифтом: «Наука — это то, во что мы договорились верить». Под плакатом стоит стеклянная витрина, в которой на бархате лежит осциллограф, какие были в ходу, когда я ходил в первый класс. Табличка гласит: «Экспонат. Дар кафедры экспериментальной физики. Не трогать». Рядом, в соседней витрине, подсвеченное, как в ювелирной лавке, стоит пирожное. Табличка у него скромнее: «Буфет. Эклер с лавандой, 480 руб.». За те же деньги в моём районе можно купить килограмм пельменей. Хороших пельменей, не тех, что я ем.

Я прикидываю, что у осциллографа поблизости цены нет. Вероятно, он стоит дешевле эклера.

Первая секция называется «Квантовая нумерология и топология сознания». Захожу из любопытства, как заходят в аквариум с неизвестной рыбой. В зале человек сорок, на сцене мужчина в вельветовом пиджаке, и на экране за ним крупно написано: 137.

— Постоянная тонкой структуры, — говорит он с придыханием, — равна примерно одной сто тридцать седьмой. Это число, на которое наталкивались все великие. Паули умер в больнице, в палате номер сто тридцать#. Совпадение? Я задаюсь этим вопросом двадцать лет.

Паули действительно был одержим этим числом, это правда. Номер палаты тоже, говорят, правда. Но это та разновид-

ность правды, которой можно доказать всё, что угодно, если иметь достаточно палат. В зале кивают. Кто-то записывает.

— Теперь сложим цифры, — продолжает докладчик. — Один, три, семь. Одиннадцать. Один плюс один. Два. Дуальность. Двойственность волны и частицы, двойственность материи и тёмной материи. Двойственность меня и вас.

Я хочу возразить, что с тем же успехом можно сложить цифры номера маршрутки, но вовремя вспоминаю, что в этом зале так не принято. Возражать полагается с тремя оговорками и словом «безусловно».

Выхожу на втором слайде с таблицей, где число сто тридцать семь сопоставляется с количеством букв в имени автора. Совпало. Говорят, в этом месте зал аплодировал.

В коридоре уже пахнет настоящим успехом конференции: разливают кофе. Столы ломаются. Пирожные выложены ярусами, как этажи небоскрёба, и вокруг них стоит очередь серьёзных людей с бейджами. Я стою позади очереди, считаю в уме и прихожу к выводу, что содержимое одной этой пирамиды покрыло бы годовое обслуживание небольшого ксенонового детектора. Не такого, как в подземных лабораториях, а маленького, учебного. С насосами и охладителем. Но, видимо, наука с недавних пор питается не ксеноном, а кремом.

— Вы выступаете? — спрашивает рядом женщина с кофе и значком «Модератор секции».

— Да. Последним.

— Ой, — говорит она. — Ну ничего. Кто-то же должен.

Эту фразу я уже слышал сегодня. Мне начинает казаться, что я встретил её первую: возможно, ею и обороняются от таких, как я.

Вторая секция, которую я решаюсь послушать, называется «Тёмная материя как отражение коллективного бессознательного». Доклад читает дама лет пятидесяти пяти с мягким голосом и зелёным шарфом. На слайдах плывут туманности, фракталы и вдруг Юнг в круглых очках.

— Мы видим во Вселенной то, что не готовы увидеть в себе, — говорит она. — Тёмная материя — это не частицы. Это проекция нашего непржитого. Если мы не примем свою тень, телескопы будут находить всё новые невидимые массы.

Зал растроган. Кто-то вытирает глаза. Рядом сидит человек в тёмных очках, хотя в зале не очень светло, и он размеренно кивает.

— А как же гравитационное линзирование? — спрашивает вдруг с задних рядов молодой голос.

Я оборачиваюсь. У стены сидит девушка в мятой серой толстовке с капюшоном, одной рукой подпирает голову, другой держит банку энергетика. Волосы собраны в хвост на скорую руку, под глазами синяки такого размера, что в них можно хранить документы.

Докладчица улыбается так, как улыбаются людям, которых жалеют.

— Линзирование — это тоже метафора, милая. Свет оги-

бает то, что мы не хотим замечать.

— А, — говорит девушка. — Ну да. Спасибо.

Она отпивает из банки и смотрит в потолок. Мне нравится, как она смотрит в потолок.

После обеда зал редеет. Обедом называется то, что подают в соседнем помещении: тарталетки, канапе на шпажках и странный салат, в котором икра используется как приправа. Выясняется, что когда научный мир наелся, он идёт домой. К половине третьего в аудитории сидят человек двенадцать: трое спящих, двое с ноутбуками, на которых открыты какие-то другие дела, уборщица, заглянувшая протереть подоконник, и ряд людей, пришедших за тем, чтобы просто посидеть до конца и получить сертификат.

За длинным столом президиума расположились председатель и двое помощников. Председатель — высокий, массивный, с серебряной бородой, которой могли бы гордиться лучшие бороды девятнадцатого века. На табличке перед ним значится: «Громов А. В., председатель оргкомитета, д. ф.-м. н., академик Общества Фундаментальных Абстракций». Второе звание звучит так, будто его придумали сегодня утром. Но говорит он красиво, бархатом, с перекатами.

— Продолжаем нашу работу, — произносит Громов. — Заключительный доклад сегодняшнего дня. Сатейников Сергей... э-э... Сатейников. Независимый исследователь. «Облака в небе, которых нет». Вам слово. Регламент сокращён в связи с кофе-брейком, так что постарайтесь уложить-

ся.

— В сколько? — спрашиваю я.

— В сколько получится.

Выхожу к трибуне. Ноутбук подключён к проектору, на экране мигает мой первый слайд. Название. Под ним строчка, которую я набрал с утра: «Независимый исследователь». Зал смотрит на меня так, как смотрят на последний вагон электрички: придет, никуда не денется.

— Добрый день, — говорю я. — Начну с признания. У моей теории пока нет названия. Оно было, но утонуло в кофе.

Кто-то хмыкает. Это можно считать успехом.

— Идея простая. Тёмная материя составляет примерно восемьдесят пять процентов всей материи Вселенной, но мы не можем её поймать. Мы строим детекторы под землёй, в шахтах, в бывших рудниках. Килограммы ксенона, километры породы сверху, чтобы отсечь космические лучи. Двадцать лет тишины. Одна из причин, по-моему, в том, что мы ищем в неправильном месте.

Переключаю слайд. На экране моя кастрюля. Я нарисовал её в графическом редакторе, получилось аккуратнее, чем в блокноте, но суть та же: дно, бульон, пельмени.

— Предположим, что тёмная материя не размазана ровно, а лежит облаками. Предположим, что она слабо взаимодействует с обычным веществом, и это взаимодействие становится заметным только там, где одновременно очень боль-

шая масса и очень большое давление. Тогда лучший детектор из доступных нам — не бак с ксеноном. Это планета. Ядро планеты. У нас под ногами работает установка, которая...

— Простите, — раздаётся голос с президиума. — Это что на слайде?

— Кастрюля, — отвечаю я.

— Кастрюля.

— Модель. Дно — это ядро, суп — мантия, а пельмени...

— Пельмени, — повторяет Громов.

Он произносит это слово медленно, смакуя, как дегустатор. Двое помощников переглядываются. Из зала доносится первый смешок. Не злой, а скорее радостный, как у людей, которых после тарталеток наконец развлекают.

— Это иллюстрация, — говорю я. — Дальше...

— Нет, коллега, давайте остановимся на кастрюле, — Громов поднимается. Он высокий, он очень высокий, и когда он встаёт, от этого в зале как будто меняется атмосферное давление. — Я правильно понимаю, что вы предлагаете заменить подземные лаборатории, на которых работают тысячи учёных из двадцати стран, пельменями?

— Я предлагаю заметить, что сама Земля уже работает как детектор. Вот график температуры ядра за семьдесят лет, он показывает колебания, которые принято считать шумом. Если наложить на него геомагнитные джерки, то пять из семи совпа...

— Одну секунду.

Секунду он берёт в буквальном смысле: смотрит на часы. Это дорогие часы, с большим циферблатом, тяжело блеснувшие в свете проектора.

— Три минуты, — констатирует Громов. — Позвольте мне сказать за всех присутствующих, что мы ценим стремление к науке. Мы всегда рады дилетантам. Но то, что вы показываете, коллега, не просто кастрюля. Это кухонная физика.

В зале смеются уже громко. Не по-доброму, но и не со зла: смех как бы автоматически срабатывает, когда его вовремя подсказывают. Двое с ноутбуками поднимают головы. Спящие просыпаются и спрашивают соседей, что случилось. Кто-то из заднего ряда повторяет: «Кухонная физика!», и это слово уже расходится по залу, как эхо в бассейне.

Я вижу, как поднимаются телефоны. Один, два, три. Красные точки загораются на них, как глаза маленьких хищников. Вспоминаю девочку на горке. У неё это выходило лучше: она хотя бы спрашивала разрешения.

— У меня ещё семь минут по регламенту, — говорю я.

— Регламент у нас, как видите, гибкий, — отвечает Громов. — Он сокращается, когда доклад не соответствует научной парадигме. Такова процедура.

— Какой процедуре соответствует этот пункт?

— Пункт десятый, — произносит он с лёгким поклоном. — «Защита зала от некорректных построений». Мы заботимся о вас, коллега. Не обижайтесь. Из кастрюли ещё никто не вышел в Нобелевские лауреаты.

— Из яблока вышел, — говорю я.

— Из какого яблока?

— Ньютоновского. Яблоко упало на голову, а он не стал спрашивать у президиума, соответствует ли оно парадигме.

Пауза. Затем смех, но уже другой: несколько человек смеются именно над его лицом, которое на секунду теряет вельможную мягкость. Но Громов быстро возвращает её на место.

— Ньютон, — говорит он, — был Ньютон. Спасибо за выступление. Следующий регламент: подведение итогов и приглашение на фуршет.

Я стою у трибуны ещё пару секунд. На экране моя кастрюля, чуть кривая, слегка пикселизованная, с аккуратной подписью «дно = ядро». На графике, который я так и не успел показать, три года моей жизни. Тёмная материя не обижается, ей что показывай, что нет. Ей хорошо, она тёмная.

Закрываю ноутбук. Зал уже встаёт. Люди тянутся к дверям, к тарталеткам. Телефоны исчезают в карманах, но я знаю: до вечера «кухонная физика» превратится в мем, и на нём я буду в очках, с лицом человека, застигнутого за разговором с холодильником.

В коридоре пахнет кофе, но запах уже не бодрит. Он напоминает о том, как легко слова уходят вместе с чашкой. Я иду вдоль стены к выходу, мимо плакатов про договорённость веры, мимо витрины с осциллографом и эклером. Осциллограф всё так же лежит на бархате. Я присматриваюсь к нему.

Ему, похоже, тоже не повезло с аудиторией.

— Простите.

Оборачиваюсь. Она стоит у подоконника, прислонившись плечом к стеклу: та самая девушка в серой толстовке, с банкой в руке. Вблизи она ещё младше и ещё уставшее. Глаза красные, но внимательные. Бейдж на толстовке перевернут обратной стороной, и мне видно только пластиковый прямоугольник с пятном от кофе.

— Вы тот, который про облака, — говорит она.

— Был.

— Ага. Ну, это... — Она оглядывается: нет ли кого рядом. Говорит вполголоса, как говорят в библиотеке или в операционной. — Я не буду делать вид, что всё поняла. Кастрюля, конечно, хуже всего. Но вы там сказали про пять из семи. С джерками.

— Сказал. Не дали договорить.

— Ага. Вы эти даты... по температурным данным считали? А магнитные потом наложили?

— Наоборот. Магнитные вообще не смотрел, пока даты не были посчитаны. Хотел исключить подгонку.

Она молчит. Банка в её руке чуть слышно булькает.

— Тогда это, — говорит она наконец, — не выглядит бредом.

Фраза падает между нами, как монета в колодец. Я жду всплеска, но его нет. Только внутри где-то отдаётся глухо и приятно.

— Вы — геофизик?

— Аспирантка. Кóрзина. Лина. Я вообще здесь не была. Меня заставили сидеть, потому что кафедре нужны галочки. Сказали: «Посидишь, потом отчитаешься». Я сидела. Лучше бы спала.

— Лина, — говорю я. — Сергей.

— Я знаю, — отвечает она и показывает подбородком на мой бейдж. — «Независимый».

— С заглавной «З».

— Это красиво, — говорит она. — Так, будто вы там слово «Зависимый» зачеркнули.

Она хочет добавить ещё что-то, но из-за угла выходит мужчина в костюме с папкой, и Лина мгновенно меняется: плечи опускаются, взгляд уходит в пол, банка исчезает в кармане толстовки. Из человека с мыслью она превращается в мебель.

— Кóрзина, — говорит мужчина. — Вас искал Аркадий Вениаминович.

— Иду, — отвечает Лина и поворачивается ко мне спиной. — Удачи, — бросает она мимоходом, так тихо, что слышу только я.

Я остаюсь у подоконника с ощущением, что только что получил милостыню и не заметил, как её подали.

Выхожу через вестибюль. Возле выхода стоит стол, за которым сидит девушка с планшетом, та самая, что выдавала бейджи. Теперь у неё в руках печать. Круглая, с гербом, на

котором нарисован глаз в треугольнике и подпись «Ученый совет имени Великой Абстракции».

— Сергей Сатейников? — уточняет она, хотя сама меня регистрировала три часа назад.

— Допустим.

— Вам нужно расписаться.

— В чём?

— Вот, — говорит она и разворачивает ко мне лист. Лист плотный, кремовый, с водяными знаками. Сверху шрифтом с завитушками набрано: «Выписка из решения оргкомитета». Ниже: «Работа С. Сатейникова, докладчика под номером 23, признана подлежащей включению в Реестр сомнительных идей (РСИ). Основание: п. 10 регламента. Присвоен номер: 4117».

— Что это?

— Реестр, — объясняет она, как объясняют расписание поездов. — Он у нас ведётся с две тысячи девятого года. Туда вносят идеи, которые, ну, нужно учитывать. Чтобы потом не путаться. Вы не расстраивайтесь, там очень много народу. У нас даже есть архивный номер для перпетуум-мобиле.

— Он, наверное, на букву «А»?

— На «П». — Она щёлкает ручкой. — Подпишите вот тут и тут.

Я смотрю на выписку. Подпись нужна в двух местах. Первая под фразой «С решением ознакомлен». Вторая под фразой «Возражений не имею».

Беру ручку. Ставлю подпись под «ознакомлен». Во второй строчке пишу: «Возражаю». Девушка смотрит на это без выражения, потом ставит печать так, что красный глаз в треугольнике отпечатывается ровно поверх слова.

— Это не влияет, — сообщает она.

— Я догадывался.

Отдаю ручку и выхожу на крыльцо. На улице уже вечер, сосны пахнут смолой, и фонтан без воды отражает в пустой чаше розовое небо. Я стою на ступенях и держу в руках бумагу с номером 4117.

Хорошая цифра, думаю я. Простое число? Нет, делится на тринадцать. Тринадцать на триста семнадцать. Это даже интересно.

Нет. Лучше не складывать.

Глава 4

Дорога от института до метро — это километр сосен, три автобусные остановки и одна лужа, в которой отражается моё лицо. Лицо мне не нравится. Решаю пойти пешком, чтобы лужа осталась позади, и бумага с номером 4117 в кармане куртки шуршит в такт шагам, как мышь в стене.

Вся процессия сопровождается звуком: сзади кто-то бежит. Бежит плохо, вразнобой, с хрипом человека, чей рацион последние годы состоит из жидкостей с таурином. Оборачиваюсь у самого входа в метро.

Лина стоит, согнувшись и упёршись ладонями в колени. Рюкзак перекосило, капюшон съехал, хвост развалился на два неравных хвоста. Из кармана толстовки торчит свежая банка, уже не та, что была в зале.

— Вы, — выдыхает она, — быстро ходите. Для человека. Которого только что. Публично казнили.

— Я не казнён, я внесён в реестр. Это разные процедуры.

— А. Ну да. — Она выпрямляется и пытается сдуть прядь с лица. Прядь возвращается. — Слушайте. Я бежала от самой проходной, и мне нужно, чтобы вы сейчас не говорили ничего умного. Просто послушайте.

— Это легко. Умного я сегодня всё равно уже наговорился.

Она оглядывается через плечо. Привычка у неё, видимо,

профессиональная: человек, который двадцать минут назад превратился в мебель, теперь проверяет, не едет ли за ним табуретка начальства.

— Я работаю с сейсмологическими архивами, — говорит она вполголоса. — Каталоги, волновые формы, всё, что накопили с восьмидесятых. У меня на ноуте лежит локальная копия: сорок лет, всё, что выше пятой магнитуды, плюс глубины, плюс очаги. Диссертация у меня про другое. Про затухание коды в слоях, которые никому не нужны. Так что копия лежит без дела, и ноутбук у меня тоже без дела, когда я не сплю, а я не сплю.

— Заметно.

— Спасибо. — Она не обижается, она принимает это, как принимают курс валют. — Вы сказали, что даты у вас посчитаны из температуры. Не из магнитных данных и не из сейсмики. То есть сейсмика у вас вообще не использовалась.

— Совсем.

— Тогда её можно использовать как независимую проверку. Если ваши периоды нагрева что-то греют, внизу, в ядре, это должно хоть как-то отозваться наверху. Если не отзывается, значит, вы просто красиво нарисовали кастрюлю.

— Кастрюля хорошая, — говорю я.

— Кастрюля плохая. Но идея не такая уж плохая. — Она наконец открывает банку, и банка шипит, как кобра, которой наступили на хвост. — На кафедре этого делать нельзя. Там логи, там Аркадий Вениаминович, там охранник, который

помнит всех, кто выходит после девяти. Поэтому поедем ко мне.

— Куда?

— В общежитие. — Она говорит это с такой интонацией, с какой другие говорят «в Монте-Карло». — Там интернет плохой, зато никто не смотрит, что ты запускаешь.

Раздумывать мне нечего. Дома меня ждёт кот, который сам разберётся с сухим кормом, и комната, где единственным слушателем моей теории остаётся холодильник. Холодильник, кстати, поддерживает меня не хуже учёного совета.

— Поехали, — говорю я.

В вагоне мы садимся напротив друг друга. Лина сразу же засыпает, причём так, что голова откидывается на стекло, а банка остаётся зажатой в руке строго вертикально. Это мастерство. Не видел, чтобы кто-то спал с таким дисциплинированным хватом. На третьей станции она вздрагивает, открывает один глаз и сообщает:

— Я не спала.

— Конечно.

— Я думала.

— О чём?

— О том, что ваш бейдж с «З» — это, возможно, единственное осмысленное, что сегодня придумал оргкомитет.

Закрывает глаз и возвращается к размышлениям.

Общежитие оказывается девятиэтажной панелью цвета слабого чая, с рядом окон, из которых торчат бельё, велоси-

педные колёса и, на пятом этаже, живая ёлка, переживающая второй год после Нового года. На входе — стеклянная будка с табличкой «Вахта». Внутри, в голубом свете телевизора, сидит женщина лет шестидесяти с лицом, на котором прописана вся история советско-российских отношений. На телевизоре — сериал, где красивые люди страдают в красивых интерьерах.

— Зинаида Павловна, — одними губами произносит Лина. — После одиннадцати посторонним нельзя. До одиннадцати можно, но по пропуску, а пропуск выдаёт комендант, а комендант в отпуске.

— Сейчас девять.

— Тем более. Значит, у нас два часа и одна легенда.

— Какая легенда?

— Вы — мой дядя. Сантехник. Приехал чинить стояк.

— Я похож на сантехника?

Она оглядывает меня целиком: куртка, рюкзак, лицо человека, который читает по ночам про ядро Земли.

— Нет, — честно признаётся она. — Но у вас такой вид, будто вы его уже один раз починили и он опять потёк. Это очень сантехнический вид. Идите за мной и делайте мрачное лицо.

Мрачное лицо давно у меня наготове. Мы подходим к будке. Лина стучит в стекло костяшками пальцев и говорит голосом, которого я у неё ещё не слышал: бодрым, чуть заискивающим, голосом дочери, которая приехала навестить маму.

— Зинаида Павловна, это мой дядя Серёжа. У нас в блоке стояк опять, помните, прошлой зимой заливало?

Зинаида Павловна поворачивает голову. Не торопится. За её спиной героиня сериала произносит: «Ты не понимаешь, это не просто ребёнок, это наследник!», и это, видимо, настолько важно, что вахтёрша смотрит на меня одним глазом, вторым оставаясь с наследником.

— Инструмент где? — спрашивает она.

Я смотрю на рюкзак. В рюкзаке ноутбук, зарядка, блокнот с мелом (последний кусочек, я всегда ношу) и яблоко.

— Инструмент, — говорю я, — в голове.

Секунду Зинаида Павловна размышляет. На экране героиня падает в обморок.

— Хороший сантехник, — выносит приговор вахтёрша.

— Журнал подпиши.

Подписываю: «Сатейников С. А., сантехник, ком. 612».

Пока я вывожу «сантехник», чувствую, как это слово вплавляется в мою биографию. Рядом с «кухонным физиком» и номером 4117 выглядит вполне органично.

В лифте Лина прислоняется к стенке и сдавленно смеётся — без звука, только плечами.

— «Инструмент в голове», — повторяет она. — Это шедевр. Я так и скажу на защите.

Комната шесть-двенадцать — это одиннадцать квадратных метров, в которых умудрились поселить две кровати, два стола, один шкаф и мировую экономику энергетических

напитков. На подоконнике банки выстроены в шеренгу по цветам: серебро, синий, чёрно-зелёный, неоновый розовый. Одна, судя по виду, стоит там с прошлого года и успела обрости пылью и историей. На стене над столом приколот постер с надписью «Земля слышит», нарисованный неизвестным художником: разрез планеты, а из ядра торчит ухо.

— Соседка в Казани, у неё практика, — поясняет Лина, сметая со стула кофту, носки и пустую упаковку из-под лапши. — Садитесь. Не на ту кровать, на ту нельзя, там спит мой ноут.

Ноутбук на кровати действительно лежит под одеялом. Лина вытаскивает его как грудного ребёнка, бережно разворачивает, открывает, и экран загорается россыпью окон терминала, в которых чёрным по зелёному бежит что-то очень серьёзное.

— Так, — говорит она. — Каталог на месте. Сорок лет, с восемьдесят четвёртого. Сто сорок тысяч событий выше пятой, из них около двадцати тысяч — афтершоки, которые нужно вычистить, а то получится, что Земля трясётся только там, где уже трясло. Это называется декластеризацией, и от неё хочется плакать.

— А если не вычитать?

— Тогда вы получите график, где пик за каждым пиком — это один и тот же пик, только в трёх экземплярах. Любители лженауки это обожают. — Она косится на меня. — Без обид.

— Какие обиды. У меня номер в реестре.

Она хмыкает, стучит по клавишам, открывает пустой файл, называет его «temp_final_v2_NEUDALIT» и начинает писать скрипт. Пальцы у неё летают. Я смотрю на экран и чувствую то, что чувствуют люди, наблюдающие, как кто-то умелый чинит им машину: смесь благодарности и лёгкой неловкости от собственной беспомощности.

— Пока оно качает и считает, — говорит Лина, — объясните мне. Нормально, по-человечески. Не как в зале, а как себе. Что именно должно случиться внизу и что именно мы должны увидеть наверху?

Я достаю блокнот, потому что мысль без бумаги у меня ходит по кругу, а с бумагой хотя бы по прямой.

— Представьте батарею отопления в подъезде, — начинаю я. — Не очень мощную. Подъезд холодный, батарея слегка тёплая. Теперь вообразите, что кто-то раз в несколько лет подкручивает вентиль на полтора градуса. Не больше. Подъезд этого не заметит. Но в подъезде есть лужа на подоконнике, и пока она замерзала, она текла в одну сторону, а теперь начнёт течь в другую.

— Лужа — это внешнее ядро.

— Жидкое железо, да. Оно крутится, течёт, генерирует магнитное поле. Поле зависит от того, как оно течёт, а течёт оно в зависимости от того, как греется и остывает снизу, от внутреннего ядра, и сверху, от мантии. Сейчас наука считает, что подогрев идёт от радиоактивного распада и кристаллизации внутреннего ядра, и этот подогрев плавный и

скучный. А я говорю: поверх скучного иногда накладывается добавка. Когда Солнечная система проходит через облако, в ядре Земли захватывается и накапливается тёмная материя. Там колоссальное давление и колоссальная масса, шансов у частицы пролететь мимо почти нет. Захваченное самоуничтожается и добавляет тепло. Совсем чуть-чуть. Доли процента от общего потока. Но в течение лет.

— А потом облако уходит.

— И добавка пропадает. Ядро остывает не потому, что что-то отнимает у него тепло, а потому, что выключили подогрев. Для течений это такой же толчок, как включение. Магнитное поле вздрагивает, это те самые джерки. А мантия...

— Мантия слышит, — подсказывает Лина.

— Мантия слышит. Нижние слои, на границе с ядром, меняют вязкость. Чуть-чуть. Меняется то, как поднимаются плюмы, как нагружаются плиты, как накапливается напряжение. Следствие слабое, грубое, статистическое. Нельзя сказать «в тот день ядро чихнуло, поэтому в Чили трянуло». Но в среднем, по десятилетиям, должно измениться распределение: чаще или реже глубокие события, смещение по глубине, доля сильных. Ровно в те годы, на которые приходятся мои даты.

— То есть мы ищем не землетрясения, — медленно говорит Лина. — Мы ищем походку.

— Я бы так не сформулировал. Но звучит лучше моего

варианта.

— Я это запишу в статью.

— В какую статью?

— В нашу. Пока не скажу в какую.

Она смотрит на экран. Скрипт прокручивает прогресс-бар, и из чёрного окна вылезают строки: загрузка завершена, декластеризация завершена, рассчитано помесечное распределение глубин. На последней строке стоит «ждите, и да пребудет с вами p -value».

— Шутка из репозитория, — поясняет она, заметив мой взгляд. — Я не автор. Но подписываюсь.

Следом идёт часть, которую я не понимаю до конца, но от которой дрожат ладони. Она вводит мои даты: все семь, одна за другой, и просит скрипт не показывать их на графике. Только считать окна вокруг. Затем даёт команду построить периодограмму, найти пики сама, без подсказок, и лишь потом сравнить с моими.

— Слепой тест, — говорит она. — Алгоритм не знает ни про облака, ни про вас. Он ищет только то, что торчит из шума. Если он найдёт то же, что вы нарисовали мелом, у вас есть повод выпить. Если нет, я вас провожу к лифту, дам вам плюшку, и мы забудем эту ночь.

— А плюшка у вас есть?

— Плюшка на уровне допущения.

Экран мигает. На нём вырастает график. Сначала он выглядит как обычная колючка шума, зубчатая пила, которую

ни один нормальный человек не станет разглядывать дольше трёх секунд. Потом Лина наводит на него фильтр, выкидывает самый мелкий мусор и оставляет только крупные колебания.

Мы оба молчим.

Из шума поднимаются горбы. Не ровные, не синусоидальные, а перекошенные: крутой подъём, плавный спад, пауза, ещё подъём. Как будто что-то большое и неровное прошло сквозь комнату, задев потолок. Расстояния между горбами неравные: шесть лет, четыре с небольшим, почти девять. Если нарисовать это на бумаге, получится гребёнка с неравными зубьями.

— Периода нет, — произносит Лина.

— Конечно, нет. Облака разного размера.

— Периода нет, — повторяет она, будто не слышит меня, — но есть рисунок. И рисунок воспроизводится. Видите? Подъём, спад, пауза. Подъём, спад, пауза. Только растянутый по-разному.

— Да.

— Это... это не должно так выглядеть. Шум так не выглядит.

Она выводит поверх графика мои даты. Красные вертикальные линии вспыхивают одна за другой. Первая — прямо на горбе. Вторая — на горбе. Третья — на склоне, но в пределах окна. Четвёртая, пятая... Шестая промахивается на год. Седьмая лежит на самой вершине следующего горба.

— Шесть из семи, — говорит Лина тихо. — Шесть попаданий из семи, и ни одну подгонку я не делала. Я сама не верю.

— А пятая?

— Что пятая?

— Вы пропустили её. Сказали «четвёртая, пятая» и пошли дальше. Она попала?

Лина смотрит на экран, потом на меня.

— Пятая попала идеально. Это я тупо не стала комментировать.

Я откидываюсь на спинку стула. За окном, на фоне розового неба, как забытая реклама, висит чёрная башня телецентра. В комнате пахнет лапшой и озоном от ноутбука. У меня во рту сухо, как в пустыне, и впервые за три года в этой сухости нет горечи.

— Ладно, — говорит Лина и делает то, чего я не ждал: разворачивается на стуле ко мне лицом и складывает руки на груди. — Теперь самое важное.

— Только не говорите, что нужны ещё данные.

— Нужны, но не сейчас. Сейчас вопрос: кто первый автор?

Я моргаю.

— Простите?

— Статья, — терпеливо объясняет она, как объясняют ребёнку, что вода мокрая. — Мы же её напишем? Когда-нибудь. Допустим. Значит, будет список авторов. И первое ме-

сто в нём важное, а второе — как место в аду, но с видом на первое.

— Это моя теория.

— Это мой скрипт.

— Идея моя.

— Идея без скрипта — это бред в блокноте.

— А скрипт без идеи — это график шума.

— Ну знаете. — Она вскидывает подбородок. — Идей в мире тысячи, а нормальной декластеризации я такой нигде не видела.

— Тогда нужно сослаться на тех, кто писал библиотеку.

— На них и сошлюсь. В конце. Мелким шрифтом.

— Лина.

— Что?

— У меня нет аффилиации. Если вы будете первой, а я вторым, то где я буду числиться? В «примечаниях»?

— «Независимый исследователь». У вас бейдж.

— С заглавной «З».

— Вот и пишите так. Это будет ваш фирменный знак.

— Зато у вас аффилиация зависимая, — замечаю я. — Придёт Аркадий Вениаминович и потребует себя последним. Это нормально. А где первым, там и вам придётся с ним бороться.

Лина открывает рот, закрывает, берёт банку, но банка пуста. Она смотрит в пустую банку с таким видом, будто там написан ответ.

— Он потребует себя первым, — наконец признаётся она.
— Он всегда требует первым. В прошлый раз я нашла ошибку в его расчётах, он вписался в соавторы, потому что «руководил процессом». Процессом, в ходе которого он спал на моей презентации.

— Тогда нам нужно договориться заранее.

— Давайте по алфавиту. Кóрзина идёт раньше Сатейникова. К перед С.

— Хитро.

— Это не хитро, это стандарт.

— Стандарт, при котором вы всегда первая?

— Именно. — Она улыбается впервые за вечер, и улыбка у неё оказывается неожиданно младшей, чем всё остальное лицо. — Я открыла для себя систему. Теперь надо только найти авторов, у которых фамилии на Я.

Я достаю из кармана монету. Десять рублей, тяжёлая, с орлом, облезлым от жизни.

— Орёл — я, решка — вы.

— Решка у десяти рублей — это цифра десять.

— Тогда цифра — вы.

— Я против того, чтобы научный приоритет решала монета.

— Вы только что хотели, чтобы его решал алфавит.

— Алфавит — это порядок. Монета — это случайность.

— А Вселенная, по-вашему, что?

Лина смотрит на меня так, будто я при ней вынул из шля-

пы кролика, а кролик оказался из реестра.

— Бросайте.

Я бросаю. Монета делает красивую дугу, звенит о стол, подпрыгивает, катится через всю комнату и с достоинством исчезает под кроватью.

Мы оба наклоняемся. Под кроватью темно, лежит носок, чемодан и то, что, видимо, когда-то было пиццей. Монеты не видно.

— Результат: не определён, — говорит Лина с пола.

— Результат: сокрыт за горизонтом событий.

— Тёмная материя, — торжественно произносит она.

— Ей мы всё и припишем.

Вылезает. Оба в пыли. Она сидит на полу, прислонившись к кровати, и смеётся так, что слышно через стену: сосед за ней стучит чем-то мягким. Я тоже смеюсь, сам не знаю почему. Наверное, потому что в зале сегодня надо мной смеялись сорок человек, а здесь смеюсь вместе с кем-то один.

— Ладно, — говорит она, отдышавшись. — Первый автор — тот, кто будет отвечать на комментарии. Это самая благодарная работа, и вы с ней справитесь лучше меня.

— Почему?

— Потому что вам терять нечего.

— Спасибо.

— Пожалуйста. — Она встаёт, отряхивается и возвращается к экрану. — Теперь второе. Смотрите.

Она увеличивает правый край графика. Там последний

горб, пик которого пришёлся на восемнадцатый год, уже сошёл, и кривая идёт по длинному плавному спуску вниз, к краю экрана, где линия обрывается на сегодняшнем дне.

— Это мы сейчас, — говорит Лина, ведя пальцем по спуску. — По вашей модели что здесь?

— Хвост облака, — отвечаю я, и во рту вдруг опять становится сухо. — Мы выходим из его края. Подогрев пропадает, и внизу должно быть охлаждение. Краткое, ядро как будто вздыхает. В магнитных данных это даст всплеск. Небольшой.

— Когда?

Я смотрю на кривую. Считаю в уме, исходя из наклона спада и формы предыдущих выходов. Мой собственный блокнот лежит на коленях, раскрытый на страницу с мелом по асфальту, и я почти слышу, как кто-то из школьников спрашивает: «А это правда?»

— Недели через три, — говорю я. — Плюс-минус.

— Плюс-минус нам не годится. — Лина открывает новое окно, запускает ещё один скрипт, и по экрану ползёт медленная строка расчёта. — Я подгоню фазу под последний горб и дам вам не «недели через три», а дату. С доверительным интервалом. Если вы хотите, чтобы люди относились к вам как к учёному, придётся говорить как учёный. Дата, интервал, критерий ошибки. Всё должно быть записано заранее, чтобы потом никто не сказал, что вы выкрутились.

— А если не попадём?

— Тогда я хотя бы наконец выпалась. — Она берёт новую

банку, открывает, и сейчас это шипение похоже скорее на аплодисменты. — А если попадём, ваш номер 4117 станет самой интересной цифрой в реестре.

— Я бы предпочёл не складывать.

— Я бы предпочла вообще ничего не складывать, пока не запишем дату.

Строка расчёта достигает конца. На экране вспыхивает число, обрамлённое двумя скобками интервала. До него остаётся двадцать с небольшим дней.

Лина смотрит на дату. Я смотрю на дату. Из-за стены сосед включает музыку, и она бухает так, будто это не бас, а дыхание самой планеты.

— Ну что, сантехник, — говорит она. — Поехали чинить стояк.

Глава 5

Стояк мы чиним до половины четвёртого утра. К этому времени Лина превращает мои три страницы блокнотных каракулей в текст с разделами «Введение», «Методы» и «Ограничения». Раздел «Ограничения» она пишет с особым удовольствием.

— Нужно сразу признаться во всём плохом, — объясняет она, не отрывая глаз от экрана. — Тогда рецензенты скажут «автор самокритичен» и не станут придумывать своё.

— Рецензенты придумают.

— Придумают. Но им придётся стараться.

Предсказание мы выносим в самую первую строку аннотации, как выносят табличку «осторожно, злая собака»: ядро Земли испытает кратковременное охлаждение через двадцать два дня, плюс-минус сорок часов, что отзовется глобальным провалом в геомагнитных данных. Дата, интервал, критерий ошибки. Всё, как требовала Лина. Она заливает файл на препринт-сервер, и тот отвечает: «Ваша работа поставлена в очередь на модерацию. Среднее время ожидания: 3–5 рабочих дней».

— Пять дней, — говорю я. — А у нас двадцать два.

— Тогда блог. Он у вас есть?

— Есть.

— Сколько подписчиков?

— Одиннадцать. Из них шесть — боты, один — моя мама, а один — человек, который пишет под каждым постом «Кто это читает?»

— Идеально. Значит, никто не скажет, что мы кого-то обманули.

Я публикую текст в блоге под заголовком «Прогноз: ядро вздохнёт». Это мой единственный компромисс с самим собой, потому что Лина предлагала «Охлаждение ядра: проверяемая гипотеза», а я отказался: надо же иметь хоть какое-то лицо. Мама ставит лайк через шесть минут. Бот из Нигерии — через семь.

Затем я еду домой на первой электричке и сплю четыре часа, не раздеваясь. Эйнштейн всё это время лежит у меня на груди и осуждающе дышит в подбородок.

Модерация на препринт-сервере оказывается быстрее, чем обещали: ровно тридцать шесть часов. Видимо, кого-то заинтриговал заголовок. Статья появляется в разделе «Геофизика», в окружении работ про «неоднозначность оценок скорости Р-волн в зонах субдукции». Первым комментарием, спустя четыре минуты, появляется:

«Облака тёмной материи. Следующая статья будет про эльфов в магнитосфере?»

Вторым:

«Пельмени в супе — это, конечно, сильный методологический аргумент».

Я не успел написать про пельмени нигде, кроме выступ-

ления на конференции. Значит, они уже смотрят видео. Третий комментарий пишет человек с ником «профессор_Хаос»: «Ждём 2 числа ядро охладится, а у меня чай остынет, будет совпадение». Это даже не по теме. Это просто хорошая шутка, и я мысленно ставлю ему лайк.

Лина звонит в десять утра. Голос у неё бодрый, как у человека, выпившего две банки подряд и увидевшего в этом счастье.

— Вас разбирает Паша Скептик, — сообщает она.

— Кто?

— Вы не знаете Пашу Скептика?

— Я знаю Пашу из соседнего подъезда, он чинит машины.

— Это блогер. Четыреста тысяч подписчиков. «Рациональный взгляд на иррациональный мир». Ролик вышел час назад, у него уже сорок тысяч просмотров. Называется «Тёмная материя в кастрюле: разбираем бред за двенадцать минут».

— За двенадцать? Это щедро. Я за четыре года не вкладывал столько в одну тему.

— Серёжа.

— Включайте, чего уж.

Она присылает ссылку. На экране человек лет тридцати в круглых очках и футболке с надписью «Доказательства или молчи» сидит на фоне полки с книгами, которые, судя по корешкам, не открывались. Он берёт со стола кастрюлю, ту самую, я узнаю её по китайскому узору, потому что в день кон-

ференции на неё навели телефон, и стучит по ней ложкой.

— Друзья, давайте без эмоций, — говорит он, снимая очки и сразу надевая их обратно. — Только факты и немного сарказма. Скептицизм — это не отрицание. Это любовь к доказательствам.

Следующие двенадцать минут он любит их с таким напором, что я начинаю подозревать у доказательств кого-нибудь вроде адвоката. Он объясняет, что тёмная материя «не взаимодействует вообще ни с чем, а значит, и с ядром Земли», хотя именно взаимодействие с ядром у меня и описано. Он листает мой препринт, зачитывает вслух фразу «захватываемая ядром планеты тёмная материя аннигилирует с выделением тепла» и произносит голосом сомелье: «Аннигилирует. Ну да. А на кухне у нас живёт домовой, и он тоже аннигилирует носки». В конце он обещает, что «если в назначенный срок хоть что-то произойдёт, я съем эту кастрюлю». Сидит довольный, ложка у него в руке блестит.

— Он съест кастрюлю, — повторяет Лина в трубку с необъяснимой нежностью. — Запишите ему видеообещание, когда всё случится.

— Он не знает, что именно должно случиться.

— Он знает, что что-то случится. Это уже больше, чем знает половина зала с конференции.

Через два дня Паша выкладывает продолжение: «Реакция на реакцию: почему самоучки не умеют читать комментарии». Через три — в блоге появляется сорок тысяч просмотров.

ров и ни одного человека, который прочитал дальше первого абзаца. Эйнштейн в это время сидит на клавиатуре и поправляет мою переписку выражениями вроде «ыыыыыыыы».

На шестой день приходит письмо. Обычное, электронное, с вложением в виде скана на бланке. Заголовок: «Уведомление о необходимости дачи пояснений». Отправитель — Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных результатов, и я с тайным удовольствием отмечаю, что эта организация существует в моей стране по-настоящему и не боится собственного названия.

«Уважаемый С. А. Сатейников! — читаю я. — В Комиссию поступили сведения о публичном распространении Вами прогноза природного явления, не прошедшего процедуру научной экспертизы и не подтверждённого аккредитованными организациями. Данные действия содержат признаки популяризации ненаучных представлений и могут вводить в заблуждение неограниченный круг лиц. В течение десяти рабочих дней просим представить письменные пояснения. В случае непредставления пояснений Комиссия оставляет за собой право рассматривать вопрос о включении Вашей публикации в Перечень материалов, нуждающихся в дополнительной разъяснительной работе».

Я перечитываю последний абзац дважды. «Дополнительная разъяснительная работа» звучит как продолжение моей жизни в формате корректировки поведения. Потом открываю ответ и пишу:

«Уважаемая Комиссия! Пояснение: оно произойдёт и без аккредитации. С уважением, С. А. Сатейников. P. S. Перечень, в который меня предлагается включить, я бы назвал так: «Реестр сомнительных идей, часть вторая». Номер резервирую заранее».

Отправляю. Потом, поразмыслив, добавляю в копию Лину. Через минуту она отвечает одним словом: «Гений». Через две секунды ещё одним: «Идиот». Через пять третьим: «Но гений».

На четырнадцатый день мне звонят с телевидения.

Голос в трубке такой гладкий, будто его полировали наждачкой с обратной стороны. Девушка представляется редактором ток-шоу «Час истины» и спрашивает, не хочу ли я «рассказать о своём открытии широкой аудитории». Когда я интересуюсь, кто ещё в программе, она радостно отвечает: «Очень интересные гости! Тема эфира — "Невидимые силы: наука или вера?"».

Я прошу уточнить. Выясняется, что вместе со мной приглашены астролог Виолетта Сергеевна, сертифицированный целитель воды Радомир и «независимый эксперт-скептик» в лице Паши, который, впрочем, на последний момент отказался. Телевидение не хочет делать скучное шоу. Вместо Паши пригласили профессора с кафедры философии, чья специальность — «феноменология неочевидного».

— Вам заплатят, — добавляет редактор. — Не много, но заплатят.

Я смотрю на Эйнштейна. Он смотрит на пустую миску. Мы оба понимаем, что у философии с кормом одинаково плохо.

— Согласен.

Студия оказывается тесной и холодной, как морозильник с претензией на уют. Свет бьёт сразу со всех сторон, так что у меня нет тени, и это, наверное, правильно. Гримёрша пудрит мне нос и говорит: «Вы такой бледный, как будто с ядра Земли только что вернулись». Я благодарю её и обещаю использовать фразу в мемуарах.

За столом нас пятеро. Ведущий, Арсений Лаврецкий, мужчина с тридцатью двумя зубами, каждый из которых смотрит в камеру отдельно. Справа от него астролог Виолета Сергеевна в шали, увешанной таким количеством лунных камней, что с ней хочется проверить гравитацию. Радомир, целитель воды, лет сорока пяти, с бородой и лицом человека, которого ни разу не обидели. Философ. И я.

Перед Радомиром стоит графин с водой. Перед остальными ничего нет. Мне это кажется неравенством.

— Добрый вечер, дорогие зрители! — говорит Лаврецкий так, словно все восемь миллионов сидят у него на коленях. — Сегодня мы поговорим о том, что вокруг нас, но чего мы не видим. И начнём с нашего гостя, Сергея Сатейникова. Сергей, говорят, вы утверждаете, что ядро Земли реагирует на невидимое вещество. Расскажите.

— Не «утверждаю». Предполагаю. И предсказываю. В те-

чение следующих восьми дней проверка либо подтвердит меня, либо нет.

— То есть вы рискуете?

— Нет. Рискуют те, кто боится ошибиться. Я наоборот: не боюсь.

Лаврецкий радостно кивает, и три зуба в камеру подряд.

— А вот Радомир считает, что вода хранит память. Радомир, вы же работаете именно с этим?

— Я структурирую воду взглядом, — отвечает Радомир.

— Земля — это в основном вода. Внутри.

— Внутри там железо, — говорю я.

— Железо — это застывшая вода, — мягко объясняет Радомир.

Студия замирает. Философ делает пометку в блокноте. Виолетта Сергеевна одобрительно звенит лунными камнями.

— Интересная версия, — говорю я. — Тогда магнитное поле у нас, получается, от замёрзшей воды? Удивительно, что холодильники до сих пор не ворчат.

Из глубины зала доносится смешок. Лаврецкий мгновенно хватается за смешок и разворачивает его в мою сторону.

— Сергей, но вот Виолетта Сергеевна утверждает, что все ваши якобы колебания ядра можно объяснить ретроградным Меркурием.

— Совершенно верно, — подтверждает астролог. — Меркурий уходит назад, и всё внутри уходит назад вместе с ним.

Планеты ведь тоже живые.

— Хорошая версия, — киваю я. — Но у меня есть возражение. Меркурий находится на расстоянии в десятки миллионов километров, а масса его в двадцать раз меньше земной. Ретроградным он только выглядит, на самом деле просто мы его обгоняем по орбите. Это как если бы вы сидели в поезде, обогнали другой поезд, а потом обвинили его в том, что он едет назад. Он едет вперёд. Это вы виноваты.

Пауза. Виолетта Сергеевна поднимает бровь, и бровь, судя по звону, тоже в лунных камнях.

— То есть вы обвиняете Меркурий в невинности?

— Я обвиняю пассажира.

Зал смеётся, но не надо мной. Я сам не сразу понимаю, что это значит.

Лаврецкий чувствует перемену ветра. Телевидению нужен конфликт, а не человек со здравым смыслом. Он наклоняется ко мне, и зубы становятся добрее, что всегда хуже.

— Сергей, а как же быть с тем, что у вас нет учёной степени? Нет аффилиации? Научное сообщество, как мы знаем, вас не признаёт?

— Научное сообщество, как и Вселенная, ничего не признаёт, — говорю я. — Оно сообщает. Если в субботу в двенадцать часов тридцать минут ядро Земли не вздохнёт, как я обещал, вы пригласите меня снова, и мы вместе посмеёмся до рекламы. Я даже кастрюлю принесу.

— А если вздохнёт?

— Тогда вы пригласите меня снова всё равно. Но уже без смеха.

Радомир одобрительно кивает и размешивает воду в графине пальцем. Философ спрашивает: «А что именно вы понимаете под "ядром"?» — и следующие пять минут мы выясняем, что под ядром понимается ядро, а он под ним — «метафору центра». На этом передача заканчивается. В гримёрной мне вручают конверт и бутылку воды «с зарядом Радомира». Я оставляю воду на столе. Конверт кладу в карман куртки, и он, к сожалению, не шуршит.

Телефон вибрирует уже в такси. Сообщение от Лины:

«Мы с Зинаидой Павловной смотрели. Она выключила сериал. Просила передать: сантехник держится достойно».

Я долго смотрю на экран. Потом пишу: «Передай ей, что стояк в порядке».

Двенадцатым днём, ещё до эфира, Лина делает то, о чём меня предупредила только постфактум.

— Слушайте, — говорит она по видеосвязи в три часа ночи. Лицо у неё синее от монитора, банка в руке строго вертикально. — Мне надо вам признаться. Только не орите.

— Я не ору. Я сплю.

— Не спите. У вас горит свет.

Это правда. Я сижу на кухне и чищу яблоко, потому что некоторые вещи надо чистить, когда нервничаешь.

— В общем, — продолжает она. — Открытые данные магнитных обсерваторий у нас есть. Но они приходят с задерж-

кой в несколько суток, а потом ещё чистятся, сглаживаются и приводятся в приличный вид. Это не годится. Нам нужен сырой поток, секундный, прямо с магнитометров. Чтобы увидеть всё в момент, а не в отчёте.

— И?

— У лаборатории Аркадия Вениаминовича есть соглашение с несколькими станциями. Обмен данными в реальном времени. Закрытый, по логину. Логин у него на жёлтом стикере под клавиатурой.

— Лина.

— Я ничего не взламывала. Я просто подняла клавиатуру, чтобы протереть, и увидела, а память у меня, к сожалению, хорошая.

— Это...

— Это называется «ситуационная осведомлённость». — Она отпивает из банки. — Не волнуйтесь, я ничего не скачиваю, только смотрю. Он всё равно не заходит в этот интерфейс с две тысячи девятнадцатого года, у него там даже последний вход записан как «не помню».

— А если заметят?

— Заметят — скажу, что занималась кодой.

— Кода — это же не это.

— Для охранника, который помнит всех, кто выходит после девяти, всё, что мигает, — это кода.

Я кладу яблоко на стол. Эйнштейн, спавший у батареи, поднимает голову, и мы оба понимаем, что в этом деле у нас

появился уголовный элемент.

— Хорошо, — говорю я. — Только без глупостей.

— Глупости будут после дня X. До него только расчёты.

Двадцать второй день приходит в субботу. С утра идёт дождь, и стекло кухни покрыто мелкими каплями, как будто кто-то запускает по нему бесконечный шум. Интервал по Лениным расчётам начинается в семь утра и заканчивается в одиннадцать вечера. Центр — в двенадцать тридцать.

Я включаю ноутбук в одиннадцать. Лина выходит на связь в одиннадцать ноль две, уже с тремя окнами на экране. У неё в кадре стоят не банки, а целая энергетическая батарея, и это, кажется, повод для тревоги за её печень.

— Я подключилась ко всем, — говорит она. — Шотландия, Эскдалемюр. Южная Африка, Хермонус. Япония, Какиока. Австралия, Канберра. Ещё две в Европе. Секундные данные, сырые. Всё, что у Аркадия Вениаминовича на стикере.

— А в Бельске?

— Бельск у нас в резерве.

— Вы уверены, что...

— Тихо. Я думаю.

Мы замолкаем. Вместо разговора теперь тикает чайник, которого никто не включал, и гудит холодильник, мой единственный слушатель. Эйнштейн, поняв, что происходит нечто, требующее его присутствия, запрыгивает на стол и садится рядом с ноутбуком. Он смотрит на экран, как смотрят

на чужую рыбалку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.